

ПАМЯТИ СТИВЕНА ХАДСОНА

...Роком ведомый...

Вергилий. Энеида, 1, 2¹

«...Протяни мне руку.
Руку, родитель, мне дай, не беги от сыновних
объятий!»
Молвил, и слезы ему обильно лицо оросили.
Трижды пытался отца удержать он, сжимая
в объятьях,
Трижды из сомкнутых рук бесплотная тень
ускользала,
Словно дыханье, легка, сновиденьям
крылатым подобна.
Вергилий. Энеида, VI, 697–702

Мой вождь и я на этот путь незримый
Ступили, чтоб вернуться в ясный свет,
И двигались все вверх, неутомимы.
Он впереди, а я ему вослед.
Пока моих очей не озарила
Краса небес в зияющий просвет:
И здесь мы вышли вновь узреть светила.

*Данте. Божественная комедия, Ад,
XXXIV, 133–139²*

¹ Здесь и далее «Энеида» цитируется в переводе С. Ошера под ред. Ф. Петровского; «Георгики» и «Буколики» — в переводе С. Шервинского.

² Перевод М. Лозинского.

ВОДА — ПРИБЫТИЕ

Голубовато-серые, легкие, тихим, едва внятным встречным ветром гонимые, катились адриатические волны навстречу эскадре императора, когда та, медленно надвигаясь левым бортом на пологие холмы Калабрии, направлялась к порту Брундизию; и теперь, когда залитое солнцем и все же тронутое дыханием смерти одиночество моря постепенно сменялось мирной радостью людской суеты, теперь, когда воды, смиренные и позлащенные близостью людского житья-бытья, покрылись многочисленными судами, тоже плывущими в гавань или вышедшими оттуда, а рыбацкие лодки под коричневыми парусами, покинув для вечерней ловли крохотные молы, прилепившиеся к частоколу селеньиц и деревень, уже отделились от белой прибрежной каймы, — теперь вода стала гладкой почти как зеркало; перламутровая раскрылась над нею раковина неба, вечерело, и порой чудился над водой дым костров, доносимый, навеваемый с пастбищ вместе со звуками жизни на берегу: то звяк железа о наковальню, то крик.

Из семи кораблей с высокими бортами, шедших друг за другом кильватерной колонной, лишь первый и последний стройные пентеры с тараном на носу принадлежали военному флоту; остальные же пять, куда более громоздкие и внушительные, в десять и двенадцать рядов весел, были построены с роскошью, приличествующей

обыкновениям императорского двора, а на среднем в колонне, великолепнейшем, — златосверкающий бронзовый буг, златосверкающие львиные головки с кольцами в пасти, пестрые вымпелы на вантах, под пурпурными парусами величественно возвышалась парадная палатка Цезаря. А на следующем за Августовым корабле находился творец «Энеиды», и печать смерти лежала на его челе.

Терзаемый морской болезнью, весь в напряженном и опасливом ожидании очередного ее прилива, он целый день не решался и шевельнуться, так и лежал, прикованный к своему ложу, устроенному для него в самой середине корабля, ощущая себя, вернее, свое тело и свою телесную жизнь, которую давно уже воспринимал как чужую, ощущая всего себя как одно осторожное, ощупывающее воспоминание о том расслабленном покое, который и впрямь внезапно объял его, едва корабль вошел в тихие прибрежные воды; раствориться в потоке этой мирволящей и умиротворенной, усталой неги было бы совершенным счастьем, если б не дожимал его вновь нажитый вопреки целительному морскому воздуху кашель, если б не трепала его ежевечерняя лихорадка, как и ежевечерние страхи. Так он и лежал теперь здесь, он, творец «Энеиды», он, Публий Вергилий Марон, лежал с приугасшим сознанием, почти стыдясь своей беспомощности, почти гневаясь на судьбу; лежал, вперяясь взором в перламутровый овал небесной чаши: о, зачем только уступил он домоганиям Августа? Зачем покинул Афины? Теперь прощай последняя надежда на то, что священно-ясное небо Гомера споспешествует благополучному завершению «Энеиды», прощай надежда на то новое в его жизни, что могло бы за этим воспоследовать, надежда на далекую от искусства и свободную от поэзии жизнь философа и ученого в граде Платона, надежда на то, что удастся когда-нибудь снова ступить на ионийскую

землю, а вместе прощай надежда на чудо и целительность познания. Почему же отказался он от всего этого? Добровольно ли? О нет! То был словно приказ неотвратимых сил жизни, тех неотвратимых сил судьбы, кои никогда не исчезают совсем, пусть и прячутся они временами в подземном, незримом, неслышном, но они неотступны, как неисследимая угроза сил, от которых никуда не уйдешь, которым нельзя не подчиниться — на то и судьба. Он предался судьбе, а судьба предала его гибели. Разве то не была его форма жизни? Разве жил он когда-нибудь иначе? Перламутровая чаша неба, и вешнее море, и пение гор, и та песнь, что болью наполнила грудь, божественные звуки флейты — разве не было все это лишь оболочкой тех сфер, что скоро примут его и отнесут в вечность? Он был по рождению земледельцем, любил мирный земной удел, ему более всего подошла бы простая и степенная жизнь в сельской общине, ему на роду было написано оставаться в этой неизменности, он мог и должен был остаться, но высшее провидение, не отрывая его от родины вполне, все же и не оставило его в ней, все же вытеснило прочь из общины, вытеснило в самое голое, самое злое, самое страшное одиночество — одиночество в людской толпе; судьба погнала его прочь от простоты истока, погнала вдаль, где все больше множилась всякая сложность, и выросло, увеличилось в этой гонке лишь расстояние от жизни в собственном смысле, да, да, выросло лишь оно, это расстояние, ибо жил он на самом краю жизни, на краю своих нив, и всегда оставался непоседлив, беспокоен, бежал смерти и смерти искал, искал трудов и трудов бежал; любящий и все же гонимый, вечный скиталец на страстных путях плоти и духа, гость на пиру своей жизни. И теперь, когда силы почти иссякли, на исходе бегства, на исходе поисков, когда уже завершил он борьбу и приуточился к прощанию, приуточился к последнему одиночеству, готов был

вернуть одиночеству свою душу, теперь судьба вновь его одолела, вновь отказала и в простоте, и в сокровенности истока, вновь повернула его с пути к себе, подтолкнув к пестроте внешней жизни, вновь навязала ему то зло, что тенью лежало на всей его жизни, и казалось, будто судьба приберегала для него одну лишь единственную простоту — простоту смерти. Он слушал скрип рей в снастях и мягкий шорох парусов, слушал шепот пенящейся за кормою воды и серебряный звон брызг, извлекаемых веслами, которые то тяжело стонали, ворочаясь в уключинах, то снова с плеском шлепались в воду; он чувствовал равномерные, мягкие рывки корабля — в такт взмахам сотен весел, он следил за скольжением белой прибрежной каймы и думал о немوتствующих, закованных в цепи рабах там, в утробе корабля, где царили духота, и сквозняк, и вонь, и грохот. Те же ритмичные, глухо рокочущие, всплескивающие серебро взмахи весел слышались сзади и спереди, на соседних кораблях, эти звуки словно бы разносились эхом по всем морям, и отовсюду приходил отклик, ибо на всех морях плавали такие же корабли, груженные ли людьми, груженные ли оружием, груженные ли рожью и пшеницей, груженные ли мрамором, маслами, вином, специями, шелком, груженные ли рабами, — повсюду купля-продажа, эта злейшая из корчей и порчей мира сего, пользовалась судоходством. Тут, однако ж, везли не товары, а утробы, то бишь придворных; вся кормовая часть корабля была отдана пропитанию, с раннего утра там не смолкал шум застолья; вот и теперь еще трапезная была густо облеплена вождедующими угодить своему чреву, улучающими миг, когда освободится местечко за триклинием, готовыми захватить его в борьбе с соперниками, также изнемогающими от желаня наконец-то возлечь у стола, чтобы впервые или уже не впервые в этот день отдаться блаженной смене блюд; сбивались с ног легконогие, принаряженные

слуги, среди которых было немало смазливых, теперь, правда, все они были как взмыленные, загнанные лошади, а их вечно улыбающийся начальник с настороженным холодком в уголках глаз и ненавязчиво растопыренными навстречу чаевым руками все гонял и гонял их туда-сюда, да и сам сновал как челнок с палубы и на палубу, ибо наряду с теми, кто возлежал, не меньше хлопот, как ни странно, доставляли и те, кто уже насытился и теперь искал развлечений иного рода: иные прогуливались, сложив руки на животе или его противоположности, иные, напротив того, дискутировали, размахивая руками, иные подремывали или похрапывали на своих ложах, прикрыв лицо тогой, иные посиживали, мечта кости, и всех их тоже нужно было опекать и обслуживать, то и дело потчевать легкими закусками на серебряных подносах, передававшихся из рук в руки по всей палубе, дабы не пропустить рождение нового глада, дабы вовремя потрафить страсти обжорства, явственно и неизбежно отпечатавшейся на лицах всех — как упитанных, так и тощих, как слоняющихся, так и сидящих, как бодрствующих, так и спящих; эта страсть могла быть выбита резцом или вылеплена, как из глины, могла быть острой или мягкой, хищной или благодушной, волчьей, лисьей, кошачьей, попугайной, лошадиной, акульей, но она неизменно оказывалась как-то связана с другой, не менее плотоядной и омерзительной страстью — ненасытимой жадной обладания, жадной вещей, денег, чинов, почестей, жадной того чувства праздно-занятости, которое дает имущество. Всюду, куда ни глянь, кто-нибудь совал себе что-нибудь в рот, всюду пылала алчная жадность, не ведающая ни конца, ни начала, как петля, готовая все, весь мир захлестнуть, ее, этой жадности, чад витал тут, над палубой, ее, эту жадность — неотменимую, неизбывную, тоже везли с собой в ритме весельных взмахов: ею был объят весь корабль. О, стоило бы однажды изобразить

их во всей красе! Песнь жадности — вот что надобно им посвятить! Да, но что толку? Ведь поэт ни на что не годен, ни в какой беде он не помощник, и слушают его лишь тогда, когда он мир приукрашивает, отнюдь не тогда, когда он изображает мир таким, каков он есть. Ложь, а не истина дает славу! И возможно ли в таком случае надеяться, чтобы «Энеиде» была уготована иная, лучшая участь? Да, ее будут превозносить, как превозносили все, что он писал до сих пор, но вычитают из нее одно лишь желанное, нельзя ни надеяться, ни опасаться, что остережения его будут услышаны; нет, не дано ему было обманываться или верить обману, слишком хорошо он знал эту публику, столь же мало удостаивающую вниманием настоящий, тяжкий, ценой страдания обретающий истину труд поэта, как и горький, горьким потом политый труд рабов на галерах; и то и другое было для этой публики лишь положенной, положением вмененной данью тому, кто имел право наслаждаться и кто воспринимал и принимал это именно как дань! А ведь среди жующих и жрущих тут были не одни лишь бездельники, хотя и этот сорт людей Август терпел в своей свите, нет, многие из них имели на счету всяческие заслуги, но с каким наслаждением они отбросили здесь, на корабле, все прочие свои качества, чтобы в часы вынужденного путешествия безделья предстать во всей первозданной наготе своего слепого высокомерия и своей темной жадности или жадностью заполненной темной сути. Внизу, в утробной тьме, рывок нанизывая на рывок, в диком, зверином, нечеловеческом своем великолепии работала закованная в цепи масса гребцов. Те, там внизу, не понимали его, и не было им до него дела, эти, тут, наверху, утверждали, что почитают его, да они и сами верили в это, обманывая себя — кто ради того, чтобы, выпятив любовь к его произведениям, похвастать своим вкусом, кто потому, что другу Цезаря полагались признательные

воздаяния, хотя что же общего могло быть с ними у него, Публия Вергилия Марона, ведь они, даром что судьба поместила его в их круг, внушали ему омерзение, и его давно бы вновь смял приступ болезни, если б смрад и чад на корабле, где предавались они обжорству, не развеивал прибрежный бриз, предвестник заката. Убедившись в том, что сундук с рукописью «Энеиды» стоял целехонек у его ложа, он, не отрывая глаз от закатывающегося на западе светила, натянул плащ до подбородка; ему стало зябко.

Время от времени его одолевало желание оглянуться, полюбопытствовать, взглянуть на то, чем занимается шумная толпа позади; однако он не делал этого, и хорошо, что не делал, ему даже все больше и больше казалось, что повернуться означало бы нарушить некий запрет.

Так он тихо лежал. Первые сумерки уже затянули нежной завесой небо и весь мир, когда они достигли узкой, похожей больше на речное устье бухты Брундизия; воздух сделался прохладнее, но и мягче, соленый морской дух смешивался теперь с пряным духом земли, обступавшей канал, в который один за другим, сбавляя скорость, входили корабли. Серой, как свинец, темной, как железо, сделалась теперь Посейдонова стихия, лишившись завитушек из волн. На укреплениях по обе стороны канала был выставлен караул в честь Цезаря — быть может, первое поздравление с днем рождения, ибо на праздник своей колыбели вернулся домой Октавиан Август: через два дня, да, уже послезавтра, будет по сему случаю в Риме праздник; да, ему уже сорок три, плывущему впереди Октавиану. Хриплые крики воинов взлетали с берегов, знаменосцы на флагах манипулов коротким выверенным движением руки в такт выкрикам выбрасывали вверх древко красных боевых штандартов, чтобы затем косою ровной линией склонить их перед

Цезарем, — словом, то, что здесь происходило, было бра-
вой и деловой церемонией приветствия, предписанной
военным уставом, церемонией точной и по-солдатски
суровой, как сам военный устав, и в то же время было
в ней что-то вечерее-кроткое, едва ли не фантасти-
ческое — так быстро, так стремительно таяли эти крики
в необъятном куполе света, так быстро и так по-осен-
нему вянул багрянец знамен под наплывом пепла, кото-
рый оставило в воздухе догоревшее светило. Свет больше
земли, земля больше человека, и не выстоять человеку,
если не вдыхает он запаха родной земли, если не вернет-
ся к земле, если не вернется благодаря земле к свету,
если не примет свет по-земному и на земле, если свет,
благодаря земле, не примет его, человека, если не станет
светом земля. И никогда не бывает земля ближе, при-
вязаннее к свету, а свет ближе, расположеннее к земле,
чем в надвигающихся сумерках, на грани ночи. Ночь дре-
мала еще в глуби вод, но вот уже стала просачиваться
барашками крохотных и бесшумных волн, наморщивших
зеркало моря; всюду, смешивая верх и низ, всплывали
бархатные волны ночной глубины, волны другой, второй
бесконечности, порождающей, плодоносной сверхбес-
конечности, и всюду они начали гасить дневной блеск.
Свет не сеялся больше сверху, он повис между небом
и землей и так, на весу, еще светил, но ничего больше не
освещал, так что и вся округа, над которой он висел, каза-
лось, излучала собственный свет. Вечереющую землю
заполонил, без конца и без края, стрекот цикад, их ми-
риады слились в унисоне — длительном, ровном, всепро-
никающем, но и вследствие неразличимости — почти
неслышном, не ведающем ни падений, ни нарастаний.
Склоны, на которых выселись укрепления, поросли вы-
ше каменистого берега скудной травой, и сколь ни бед-
на была эта поросль, она означала мир, и покой, и темное
забытие корней, означала темную глубину земли, простер-

той под скудеющим светом. Потом берега очертились явственнее, в щедром богатстве зелени, густоте красок, появились скопления кустарника, а на верхушках холмов, между каменными прямоугольниками крестьянских дворов показались первые оливковые деревья — как серые жгуты, свернутые из сгустившегося тумана. О, как нестерпимо захотелось ему потрогать этот, увь, столь далекий берег, запустить руку в эти темные заросли, пальцами ощутить вскормленную землей свежесть листвы, слиться с нею навеки — руки, пальцы его подрагивали от томительного желания прикоснуться к зеленым листьям, к их упругой, живой плоти, которую он — закрыв глаза — почти осязал; то было почти чувственное томление, по-чувственному простое и сильное, как его корявые крестьянские кулачищи, по-чувственному изощренное, чуткое, тонкое, как его узкие, почти женственные запястья; о трава, о листья, о гладкость, о шершавость коры, о жизненная сила прорастания, о темная, сложнозапутанная плоть земли! О эти руки, чутко сторожкие, робкие, притягивающие к себе, обволакивающие руки, о пальцы, кончики пальцев, шершавые, нежные, мягкие, о кожа живая — верхняя из самых верхних поверхностей темной глубины души, обнажающей себя в поднятых руках! Он всегда ощущал в своих руках эту странную, почти вулканическую пульсацию, всегда догадывался о какой-то странной, самостоятельной жизни своих рук, догадывался, но не решался проникнуть за порог этой темной догадки, не решался узнать, будто предчувствовал, что в таком знании затаился опасный мрак; и если он и теперь, в силу давней привычки, вращал кольцо с печатькой на пальце правой руки — почти немужское кольцо вследствие тонкой, изысканной работы, то проделывал он это будто в надежде отвратить мрачную опасность, будто в надежде унять томление рук, унять, укротить, заглушая их страх, томительный страх,

какой испытывают крестьянские руки, которым не дано более ни семян, ни плуга, но которые выучились касаться того, чего нет, томительный страх рук, творящей воле которых, лишенной земли, не осталось ничего, кроме собственной жизни, жизни в необъятной вселенной, жизни, полной опасностей для рук и от рук, жизни, так глубоко погруженной в Ничто и нагруженной его опасностями, что и самый страх, стараясь превозмочь самого себя, стал могучим стремлением — стремлением удержать единство человеческой жизни, сохранить единство человеческих чаяний, чтобы избежать распада на множество мелких, мелко-томительных и томительно мелких жизней, ибо недостаточно томление рук, недостаточно томление глаз, недостаточно томление слуха, но достаточно лишь томление сердца и мысли во всей их полноте, о, это томительное единство целокупности двух бесконечностей — внешнего и внутреннего, зрящей, слушающей, постигающей, дышащей в двуедином единстве целокупности, ибо лишь ей одной отпущено избыть безнадежно слепую печаль обремененной страхами отъединенности, в ней одной совершается двойное разворачивание познавательных сил, исходящих из самых глубинных корней бытия, и все это он прозревал, всегда прозревал — о, томление того, кто вечно лишь гость, кому суждено быть лишь гостем, о, томление человека: в том-то и сказывалась всегда прозревающая сила его напряженного слуха, прозревающий ритм его дыхания, прозревающее усилие его мысли, что и слух, и дыхание, и мысль его влиялись в поток света вселенной, в непостижное знание о ней, в никогда не достижимое приближение к ее бесконечности, даже к самому краю ее, так что и простертая в крайнем томлении рука не смеет и шевельнуться. И все же он к ней приближался, приближался, несмотря ни на что, а мысль его походила на прислушивающееся, дышащее ожидание, прислушивающееся к двойным

безднам Посейдоновых и Вулкановых сфер, единым, ибо покрытым одним куполом Юпитерова неба. Свободно струится сумеречный свет, как дыхание, как тот поток, в который корабли погрузили свои днища; текуч поток внутреннего и внешнего, текуч поток души, струящей дыхание из поюстороннего в потустороннее, из потустороннего в поюстороннее; отверсты врата знания, и нет знания как такового, но есть его прозревание, есть прозрение врат, прозрение пути, окутанное сумерками прозрение путешествия в сумерках. Впереди на носу корабля запел раб-музыкант; вероятно, его призвало к себе собравшееся там общество, чей шум исподволь растворился в тишине вечера; даже их, стало быть, охватило предчувствие дома, и вот после короткой паузы, необходимой для настройки лиры, после короткого ожидания, необходимой дани искусству, она, эта безымянная песнь безымянного мальчика, зазвучала, донесенная ветром и до него, песнь благодатная и осиянная, неземная и хрупкая, как краски радуги в вечереющем небе, о звуки лиры, благодатные и осиянные, нежные, как слоновая кость; дело рук человеческих — эта песня, дело рук человеческих — эта лира, но как же далеки они от человеческого истока, как далеки, как отъединены они от человека, отъединены от страдания — будто поют сами воздушные сферы. Сумерки сгустились, лица стали неразличимее, берега ступшевались, размылись и очертания корабля, остался один лишь голос, он стал звонким и властным, словно хотел править судно и такт его весел; источник голоса скрыт, о нем позабыли, а ведь то была властность мальчика-раба; путеводной была его песнь, упокоенной, самодостаточной и потому путеводной, именно потому отверстой вечности, ибо лишь покой указывает путь, лишь единственный миг покоя, вырванный из потока вещей, нет, спасенный из него, открывається бесконечности, лишь остановленное — ах, далась ли ему самому хотя бы раз

такая, истинный путь указующая остановленность? — лишь воистину остановленное, пусть даже только на единый миг в непрерывном потоке миллионов лет, становится длительностью, не измеренной временем, становится указующей путь песнью, становится водительством; о один-единственный миг жизни, простертый до целого, простертый до круга познания целого, отверстый вечности; высоко над осиянной песнью, высоко над осиянными сумерками дышали небеса, чья прятая и ясная осенняя сладость повторялась, тысячелетиями оставаясь неизменна, и тысячелетиями будет повторяться, оставаясь неизменна, — неповторимые все-таки небеса в единственном сочетании этого Здесь и Теперь, в том, как тишина наступающей ночи затягивала светлым шелком их купол.

Песнь торжествовала, правда, не очень долго, продвижение меж берегами входного канала скоро кончилось, и песнь утасла в начавшейся на борту толчее, когда открылась внутренняя бухта, блестя зеркальной чернью, и показался обступивший ее полукругом город с его мириадами огней, мерцавших в темноте, точно звезды на небе. Сразу стало тепло. Эскадра замедлила ход, пропускающая вперед корабль Цезаря, и вот — все происходившее под мягким куполом неизменного неба тоже заслуживало запечатления как некая бесконечно повторяющаяся единственность — начались осторожные маневры, необходимые, чтобы пробраться сквозь там и сям стоявшие на якоре парусники, баркасы, рыбацкие лодки, тартаны и транспортные суда; чем дальше продвигались корабли, тем уже становился свободный фарватер, тем плотнее гряда корабельных тел, тем гуще переплетения мачт, и рей, и зарифленных парусов, мертвых в своей окоченелости, но живых в своем спокойствии, странно напоминавших темное и сложнопутаное плетение корней, протянувших свои щупальца из маслянисто блес-

тящей тьмы воды к светлой неподвижности тверди; черная паутина из дерева и пеньки, таинственно отраженная внизу зеркалом воды, таинственно исполосованнаяверху ярко пляшущими отблесками факелов в руках людей, орущих приветствия на палубе, таинственно осиянная пышными огнями на портовой площади: в ряду домов близ порта светились все окна, даже оконца мансард, ярко освещены были остерии под колоннадой; посреди площади шпалерами выстроились ряды солдат с факелами в руках, они стояли плечом к плечу, так что шлемы сливались в едином блеске, они должны были, очевидно, держать свободной дорогу из порта в город; факелы красовались на постройках таможенных служб и амбаров вдоль мола; все вместе было огромным сверкающим пространством, забитым людскими телами, огромным сверкающим вместилищем столь же напряженного, сколь и насильственного ожидания, пространством, наполненным шумом от сотен тысяч ног, скользящих, стучащих, шаркающих, шествующих, шагающих по мостовой; то была гигантская клокочущая арена, наполненная приливами и отливами темного людского гула, кипением нетерпенья, внезапно оборвавшимся и напряженно застывшим, когда корабль Цезаря, теперь ведомый усилиями всего лишь дюжины гребцов, мягко подошел к причалу и почти неслышно приткнулся к нему в положенном месте — там, где в почтительном ожидании посреди каре военных факелоносцев стояли отцы города; этого-то мгновения и ждала глухо рокочущая толпа, чтобы выдохнуть наконец свой восторженный вопль, и вот он грянул — бесконечный, торжествующий, сотрясающий воздух, необузданный, яростный, внушающий трепет, самозабвенный, возносящий молитву всем в лице одного, единственного.

Вот это и была толпа, ради которой жил Цезарь, ради которой была создана империя, ради которой была

ОГЛАВЛЕНИЕ

Вода — прибытие. <i>Перевод Ю. Архитова</i> <i>под редакцией А. Карельского и Н. Федоровой</i>	7
Огонь — нисхождение. <i>Перевод Ю. Архитова</i> <i>под редакцией А. Карельского и Н. Федоровой</i>	77
Земля — ожидание. <i>Перевод А. Карельского</i>	250
Эфир — снова на Родине. <i>Перевод А. Карельского</i>	489